



К. ЗАЙЦЕВ

Проблема Чаадаева *

Книга Шарля Кенэ о Чаадаеве, несомненно, привлечет снова внимание к личности этого загадочного человека — и это не потому, что французскому исследователю удалось пролить свет на его тайну, а скорее именно потому, что это новое, а в отношении полноты материала и широты его захвата, в сущности, *первое* исследование о Чаадаеве не делает даже попытки проникнуть в эту тайну! Мы имеем перед собой свод данных о Чаадаеве, который не притязает, по-видимому, на то, чтобы единой концепцией осветить и осмыслить проблему Чаадаева — будь то в плане истории идей, будь то в плане истории русского государства и общества, будь то в плане психологического раскрытия духовного естества подлинного властителя дум стольких поколений, — и как бы сознательно отбрасывает как ненужный самый подход к *целостному* восприятию темы. Я не собираюсь подвергать критическому разбору книгу аббата Кенэ — наша газета еще вернется к ней, — я лишь констатирую это обстоятельство, ибо оно, в сущности лишь потенцируя энигматичность¹ фигуры Чаадаева, естественно влечет мысль к попыткам его разгадки.

Отсюда и те несколько соображений о проблеме Чаадаева, которые мне хочется высказать.

Идейное наследие Чаадаева противоречиво, причем противоречивость эта не может быть *исчерпывающе* объяснена ни практически-психологически, в порядке сведения ее к чисто внешнему факту приспособления Чаадаева к нынешним обсто-

* Tchaadaev et les lettres philosophiques Contribution à l'étude du mouvement des idées en Russie par Charles Quénet, docteur ès lettres. Bibliothèque de l'institut Français de Léningrad. Paris, 1931. T. XII. P. 440 + LXVIII.

ятельствам, ни как этапы эволюции чаадаевской мысли. Конечно, мог малодушествовать Чаадаев в письмах, обращенных к императору или написанных в расчете на то, что они попадут ему на глаза². И конечно, мысль его развивалась. Но едва ли кому удастся к этим основаниям свести все неувязки, допущенные столь вообще мощным аппаратом мысли Чаадаева. Мне кажется, одной вещи Чаадаев по существу не додумал и не разглядел, а это именно и определило те свойства его мировоззрения, которые позволяют Чаадаеву числиться в составе предков как западников, так и славянофилов. *Чаадаев не сознал проблемы создания личности как той оси, вокруг которой вертелась вся грандиозная задача «западнической» реконструкции нашего отечества.*

Чаадаев всем своим духовным существом ощущал, что России нет пути вне преодоления ее прошлого. Он прекрасно сознавал, что крепостной России, проникнутой чувством самоотверженного, но пассивного послушания, нет места под солнцем. Но он не способен был ни практически разглядеть в настоящем России те ростки, которые могли бы стать точкой приложения «либеральной» трансформации России, ни даже теоретически отдать себе точный отчет в том принципе, на котором должно было строиться подобное радикальное преобразование России. Повелительную национальную необходимость отречения от своего прошлого Чаадаев эмоционально воспринимал очень сильно — как личную трагедию! Освобождение от ярма подражательности Западу Чаадаев видел на путях *раскаяния* в нашем прошлом — ни больше ни меньше. Русская самобытность — писал он — возникнет лишь тогда, когда из нашего нутра раздастся такой крик раскаяния и боли, отзвуки которого наполнят мир! Лишь в этот момент Россия займет свое место среди других народов, предназначенных действовать в человечестве не только как стадо баранов или как дубина, но и как *идея*.

Но пусть мне укажут те строки Чаадаева, из которых бы явствовало, что он сколько-нибудь ясно понимал положительную сторону грандиозного задания, даваемого им России!

Чаадаев способен был саркастически приветствовать Хомякова по поводу его статьи о царе Федоре Ивановиче, возводя фигуру Ивана Грозного к основам того общинного и семейного быта, который славянофилы стремились восстановить³. Он способен был эпатировать сравнительно-историческими рассуждениями об отмене крепостного права Н. И. Тургенева⁴. Он способен был подвергать уничтожающей критике наше прошлое и настоящее, под углом отсутствия в них свободы. Но конкретно

он не ощущал ни того, что нужно России, ни того, как нужно вести себя, чтобы вывести ее на широкий путь, который обещает ей будущее. Силой вещей он приходил к полному индифферентизму по отношению к формам жизни и тем, в сущности, упразднял самые основы, как психологические, так и теоретические, своего «западничества».

Что проистекало для Чаадаева из этой отвращенности от жизни? Он превращался в практической сфере в безответственного наблюдателя, а в теоретической сфере в столь же безответственного мечтателя. Прочтите его переписку с братом, сидящим в деревне и ведущим хозяйство. Перед нами типичный скептик и лишний человек, вызывающий негодование со стороны ближних своим отношением к обязанностям помещика. Аббат Кенэ возвел, правда, на Чаадаева напраслину: он не продавал своих крестьян в рекруты (этого еще не хватало для обличителя рабства!), но он все же достаточно далеко шел в смысле пренебрежения к интересам своих крестьян, допуская вещи, которые он не мог не считать падением и которые он именно так и воспринимал: он растратил рекрутские деньги своих крестьян...

Это суверенное презрение к настоящему обернулось неспособностью конкретно воспринимать как прошлое, так и будущее. Отсюда противоречивое и неясное отношение Чаадаева к реформе Петра, которую он склонен был превозносить, но существа которой он так и не мог определить: она оставалась поэтому технической мерой, «импровизацией» (по выражению Ж. де Местра, и тут оказавшегося предшественником Чаадаева!) самодержавной власти, лепящей все что ей угодно из безгласной массы, существующей только географически. Если, с одной стороны, Чаадаев оказывался живым воплощением «лишнего человека», то с другой — он делался прототипом тех русских философов, для которых историософия и политика превращаются в мечтательство, упирающееся в эсхатологию, и выступают из плана ответственного действия. Не имея почвы под ногами, Чаадаев оказался обреченным мучительно колебаться между выпранным мессианизмом, унижительным приспособлением к презираемой им действительности и высокомерным отступничеством от своей родины. Та общественная реакция, которая была вызвана опубликованием «Философских писем» и которая не получила полного своего выражения, будучи остановлена противоположной реакцией, обусловленной репрессиями правительства против Чаадаева, была вполне оправдана. Основной смысл чаадаевских речей и тогда сводился к

той фразе, которую мы находим в «Апологии сумасшедшего» и которая могла бы служить эпиграфом всего дела жизни Чаадаева: «Не через родину, а через истину ведет путь на небо». Да, между родиной и истиной для Чаадаева существовала непримиримая антиномия. Выхода из нее Чаадаев не давал. Почему? Потому, что он не имел ясного представления ни об истине, ни о родине и, отрываясь от первой, не приближался ко второй...

Два человека пришли мне на ум, пока я размышлял над проблемой Чаадаева. Прежде всего современник его — декабрист Лунин. Вот человек, у которого мистическая религиозность сочеталась с конкретным, ясным и точным восприятием форм жизни и с действенной способностью защищать на практике те из них, которые он считал правильными и нужными России! Этот человек, доньше не оцененный и сравнительно мало даже известный, был, может быть, наиболее последовательным и мужественным либералом эпохи, и нельзя даже сейчас без волнения прислушиваться к голосу, который он неустанно подавал в письмах к сестре из Сибири в обличение рабства и в защиту установления в России свободных форм жизни⁵. Но и в отношении его остается вопрос: понимал ли он достаточно конкретно проблему *создания личности* применительно к массе русского народа? И тут мысль обращается к другому человеку, который был младшим современником Лунина и Чаадаева, — Пирогову. П. Б. Струве в своей недавней статье, посвященной Пирогову, вспоминал его старческие мысли, вызванные преступлением 1 марта⁶. Среди них есть замечательная формулировка той проблемы, которую мы сейчас обсуждаем. Пирогов занимался писанием мемуаров. Взрыв 1 марта потряс его, и он, отвлекшись от своей темы, с пером в руке начал размышлять о судьбах России. И где же он видел спасение ее? В создании в России личности!

Пирогов попал, как говорят немцы, молотком по самой шляпке гвоздя! Судьба России зависела именно и только от разрешения этой проблемы применительно ко всей *русской народной массе*. И поскольку эта проблема не доходила до сознания, печать лжи ложилась на всякое движение русской мысли, — ибо создавалась система «двух правд», одной для верхов, другой для низов, которая лишь углубляла пропасть, в которую готова была свергнуться Россия.

В конце концов, нужно было восстановить телесное наказание для дворян, чтобы уравнивать их с крестьянами (как выразительно заявил Пестель)⁷, либо решительно и ясно стать на путь

полного и окончательного *универсального* утверждения личности в России. Третьего не было дано.

Чаадаев остался практически при двух правдах, теоретически он отверг, в сущности, *обе*. Вот почему он, при всем своем огромном уме, при всей своей прозорливости, не стал вождем и учителем, а остался интересным образчиком утопического интеллектуального снобизма, способным властвовать над умами лишь в качестве... ересиарха.

